

События 1956 г. в Польше

глазами советских диссидентов

Предлагаемая вниманию читателей публикация составлена на основе устных интервью с советскими диссидентами и политзаключенными. Интервью записывались автором в России в период 1992–1994 гг. в рамках программы НИЦ «Мемориал» (С.-Петербург) и Восточного Архива (Варшава) «Диалог. Польско-советские диссидентские и культурные связи и взаимовлияния 1950–1980-х гг.». В период с июля 1994 г. по июнь 1995 г. работа над проектом проводилась при финансовой поддержке Фонда им. Генриха Бёлля.

Для многих людей в бывшем СССР середина 1950-х гг. ассоциируется с различными событиями в Польше, с развитием польского ревизионизма, польской прессы и кино. В процессе опросов Л.Н.Краснопевцева, Н.Г.Обушенкова, М.А.Чешкова, В.А.Козового, В.Б.Меньшикова, Б.П.Пустынцева, Э.С.Орловского, И.С.Вербловской, А.П.Лавута, С.Н.Ханженкова, В.Л.Гершуни было установлено, что для определенной части оппозиционно настроенной советской интеллигенции то, что происходило тогда в Польше, а затем в Венгрии, стало одним из самых значительных генерационных переживаний. Основной задачей интервью была попытка максимально восстановить взгляды, представления и переживания того времени, отстраняясь от сегодняшней точки зрения на те события и современного уровня информированности.

Июнь 1956 г. Познань

ЛЕВ КРАСНОПЕВЦЕВ: Летом 1956 г. мы с большой группой студентов отправились в Казахстан на уборку урожая пшеницы. Информация о событиях в Познани была только официальная. После XX съезда обстановка в Польше и Венгрии становилась все более накаленной, и в партийном руководстве как-то пытались ее снизить — убирали старых секретарей. В то время я особенно пристально старался следить за всеми перестановками. После познанских событий произошли изменения в руководстве ПОРП. Появился Охаб — такая невыразительная промежуточная фигура центристского толка, его мало кто помнит. Но как-либо овладеть положением в стране коммунистам уже не удалось. Я старался быть в курсе происходящего, иметь возможно более полный объем информации для последующего анализа. До этих событий у нас не было никаких оснований интересоваться чем-то новым

в польском опыте: железная система Циранкевича–Берута, опиравшаяся на госбезопасность, держала Польшу очень жестко. Но летом 1956 г. в наших кругах появился огромный интерес к Польше.

Я принадлежал к той части молодой, только что сформировавшейся интеллигенции Москвы, которая стала самостоятельно задумываться над общественно-политическими проблемами в конце 40-х — начале 50-х гг. в связи с острыми идеологическими конфликтами и преследованиями культуры и науки. Наша активность особенно возросла после корейской войны, которая показала нам истинное положение в мире. Но до 1953 г. эти настроения практически не выходили на поверхность, зрели внутри. В 1955–1956 гг. студенческая молодежь Московского университета заметно активизировалась, сам университет стал напоминать тогда бурлящий улей, оппозиционность настроения была очень большой.

БОРИС ПУСТЫНЦЕВ: Мы всецело поддерживали Познань 1956 года. Тем летом польские события явились импульсом, каким-то поворотным моментом для меня и моих друзей. Мы решили тогда, что надо пытаться что-то сделать. В наши двадцать лет это выглядело вполне естественно: казалось, все можно изменить. Правда, быстро пришло понимание того, что мы в этой стране одиноки, как та коза Робинзона Крузо. Массами владел абсолютный шовинизм, 99% населения кричали: «Зиг хайль!», разделяя все имперские устремления власти, даже многие антисталинисты тогда одобряли любые выверты режима... Но остановиться мы, конечно, уже не могли. Польский Октябрь и революция в Венгрии были уже инерцией событий. Логическим завершением был наш арест весной 1957 г. — меньше, чем через год. Выступления в Познани показывали, что все это не на век: в цитадели появились трещины, значит, можно пытаться расширить их, ломать ее дальше.

НИКОЛАЙ ОБУШЕНКОВ: В сентябре 1956 г. я впервые был в Польше. Это была своего рода премия за работу в качестве ответственного секретаря приемной комиссии исторического факультета Московского университета.

Мне рассказывали о том, что происходило в Познани в июне, что происходит в других городах. В то время шли процессы по Познанскому делу. Мое отношение к тем событиям было двойственным. Мне было страшно читать в польских газетах о тех диких эксцессах, которые происходили на улицах Познани. Например о том, как молодые люди, дети репрессированных, интернированных поляков, брали следователей и членов их семей, водили по городу, раздевали до пояса и жгли на их теле

газеты, не спеша, постепенно зажаривали людей... Несколько человек погибли. Такие вещи могут вызвать возмущение у любого здравомыслящего, не злобного человека. Мне была непонятна такая первобытная жестокость польской молодежи. И обвиняемые, по советским меркам того времени, получили «детские сроки» — пять, четыре, три года заключения.

Еще я слышал о том, что молодежь разнесла вдребезги вертушку-глушилку, которая мешала слушать западное радио. Конечно, их интересовали не политические передачи, а западная музыка. В этом молодежном бунте было очень мало политики по замыслу и содержанию, но он был политическим по значению — это стало открытым выступлением против общества. Так вот, с одной стороны, меня возмущала жестокость молодых поляков, но, с другой стороны, я понял, что все это свидетельствовало о начале большого кризиса всей социалистической системы.

МАРАТ ЧЕШКОВ: На меня произвело большое впечатление не столько само выступление в Познани, сколько реакция ПОРП на эти события. Правда, это не были непосредственные оценки лета 1956-го. Они были высказаны позднее. Абсолютно поразило то, что отношение Гомулки к выступлениям молодежи было положительным. В то время я был младшим сотрудником Института востоковедения. Помню, на комсомольском собрании мы все это обсуждали. Часть комсомольцев сочувствовала познанскому восстанию. Мы считали, что и у нас снизу пора что-то делать, достаточно уже обещаний было. Политику и позицию Польской объединенной рабочей партии мы считали правильной. Таким было наше отношение к тем событиям, и все это было высказано. Это очень возмутило наших партийцев, они вопили, кричали, неистовствовали. Но все обошлось бурными разговорами.

ЭРНСТ ОРЛОВСКИЙ: Познань я заметил, конечно, и сразу стал смотреть, как это освещают польские газеты. Но я не могу сказать, что уделил этому событию очень много внимания. Получилось так, что намного важнее в тот период для меня было все, что происходило в Югославии, — югославская пресса, их газета «Борба», которая появилась у нас в начале 1956 г. Это настолько поглощало все мое внимание, что я не мог спокойно заниматься ни своей диссертацией, ни чем-то другим. Потому, наверное, летние события в Познани у меня не оставили особенных впечатлений.

Осень 1956 г. Октябрьский пленум ЦК ПОРП.
Владислав Гомулка

НИКОЛАЙ ОБУШЕНКОВ: Я наблюдал обстановку накануне октябрьских событий. В маленьком курортном городке, где я отдыхал, в экскурсионном автобусе нас очень часто возили вместе с министрами польского правительства, которые находились там в отпуске. Это были представители консервативного крыла из группы Рокоссовского и Новака. Они были возмущены напором ревизионизма. Очень обиженные, рассказывали о том, что их уже практически выставили, что они только формально являются министрами и заместителями министров и после отпуска уже не вернутся в свои кресла в правительстве, откуда их вытеснили сторонники Гомулки. А сам Гомулка был тогда едва реабилитирован.

Позднее я был в курсе всего, что происходило на Октябрьском пленуме ЦК ПОРП. То, что было непонятно из советских сообщений, например почему все воеводские собрания, только что сменившие свои партийные руководства, посылают приветственные телеграммы в ЦК ПОРП, — комментировали чуть позднее знакомые поляки, с которыми мы все тогда особенно искали контактов. Мы знали из газет о броске танков Рокоссовского и о рейде кораблей Балтийского флота в Гдыне. Варшавский комитет польской партии оказался на высоте событий настолько, что призвал людей выйти на улицы строить баррикады... Все это меня очень интересовало и как историка, и как начинающего маленького политического деятеля, авантюрного плана, правда, но все-таки. Я увидел, что все это довольно простая вещь, убедился в возможности этого.

На собраниях нашей группы я рассказывал о программных установлениях польской партии, о том, как они собираются реформировать польский социализм. Взгляды польских коммунистов, польский ревизионизм были очень сильным стимулятором нашего духовного развития, формирования нашей идеологии. Мы тогда считали, вслед за Гомулкой, еще более вслед за радикальными деятелями типа Элигиуша Лясоты, что социализм можно и нужно реформировать, что есть возможности для этого. Пример Польши в 1956 г. был для нас доказательством.

Потом, уже в лагерных дискуссиях я отличался тем, что продолжал верить в возможность перемен сверху, говорил, что в нашей партии достаточно много людей, склонных к оппозиции, к реформированию, что она не представляет собой единства. Опираясь на пример Гомулки и

прогрессивного крыла ПОРП, я выступал за то, чтобы добиваться завершения процесса формирования блока демократических сил, в который обязательно войдут и силы КПСС, а не объявлять тотальной войны коммунистам.

ЛЕВ КРАСНОПЕВЦЕВ: С большим напряжением я следил за теми осенними событиями. В Польше разгорелся колоссальный политический кризис. Все лето ситуация там постепенно накалялась. В октябре все вспыхнуло — прошел знаменитый Октябрьский пленум, вернувший к руководству партией Гомулку, Зенона Клишко — в профсоюзы. Спыхальский взял в свои руки армию, гомулковцы заняли ведущие посты в экономике. Полетели Берман, Минц, Новак — все сталинисты.

Естественно, все мы были очень рады этому. Гомулка вернулся почти из тюремной камеры. Все понадеялись, что пережитое не прошло ему даром, что многое изменилось в его коммунистических взглядах и настроениях. Первые сведения о Гомулке появились у нас в период Отечественной войны, когда стало известно, что в Польше есть некий «товарищ Веслав», который руководит борьбой коммунистов с немцами, является организатором Армии Людовой... Насколько я понял по беседам с Лясотой, Польша была в восторге от Гомулки еще летом 1957 г.

Восстание в Будапеште своей трагичностью и размахом заслонило польские события. Нашим, моим иллюзиям именно тогда пришел конец. Мы поняли, что там стреляли в нас, нас давили танками, наших единомышленников, там погибали наши товарищи и наше будущее. Венгрия стала для нас каким-то лучом света.

Что касается поляков, то мы поняли, что они совершили тактически очень верный шаг, пойдя на консолидацию с Гомулкой. Гомулка тогда оградил Польшу от того, от чего Имре Надь не смог оградить Будапешт, он спас своих соотечественников от расправы будапештского типа. Тем не менее мы всегда очень критически и подозрительно относились к личности этого «железного» человека. Хотя понимали, что поляки под крышей гомулкинского режима очень многого добились: частная собственность в сельском хозяйстве восторжествовала, развивалась частная торговля, был достигнут высокий уровень свободы информации. К этому времени относится осознание необходимости борьбы с существующей системой. Я отошел от активной комсомольской деятельности, пошел в архивы и библиотеки, где занимался не столько своими аспирантскими обязанностями, сколько личными делами. Я начал писать свою работу по

истории демократического движения в России, за которую и получил, собственно говоря, свой лагерный срок.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ: К Гомулке было очень хорошее отношение. Его приход воспринимали как большой сдвиг влево. Он сменил совершенно кондового, железобетонного Берута и был окружен ореолом мученичества. Сталинский мученик! — естественно, его идеализировали у нас. И разобраться тогда объективно в том, что он по сути из себя представляет, было практически невозможно. Симпатии к нему сохранялись довольно долго, пожалуй, вплоть до антисемитской кампании 1968 г.

ВЛАДИМИР ГЕРШУНИ: С именем Гомулки связан один эпизод, о котором рассказал мне мой друг Владимир Тельников, диссидент и политзаключенный; сейчас он эмигрировал, работает на Би-Би-Си. Володя очень независимого характера, и когда он сидел во Владимирской тюрьме, то постоянно грызся с надзирателями. Однажды вертухай не выдержал и сказал: «У меня сам Гомулка таскал парашу! А ты кто такой?!» У него была своя, ментовская гордость: когда-то он охранял Владислава Гомулку, покрикивал на него, заставлял выносить парашу... всю революцию 1956 г., конечно, ассоциировали прежде всего с Гомулкой, с тем переворотом в ПОРП, который он возглавил. Как же хорошо он начинал!.. Во всяком случае, так нам казалось поначалу... Но 1968 г. отравил мне всю жизнь, когда тот же Гомулка в марте запретил «Дзяды» Мицкевича.

Источники информации. Роль польской прессы

АЛЕКСАНДР ЛАВУТ: С 1956 г. я регулярно читал польские газеты. В то время там была большая заварушка, в результате которой пришел к власти Гомулка, — первое очень заметное обновление в соцстранах, многое там стало другим. Особенно это было видно по газетам. Я стал выписывать и читать их, вначале — что попало, а потом уже регулярно читал «Политику». Из разных публикаций знал, что одним из самых популярных изданий был журнал «По просту», но его здесь не было, да и просуществовал он очень недолго: либеральный по меркам того времени Гомулка его быстро закрыл. А «Политика» хотя и была партийной газетой — ее издателем считался ЦК ПОРП, — но с очень широкой информацией и свободой изложения, сравнимой с нашими изданиями 1987 г. Читая, я начал понимать и устную речь. И потом уже все время старался следить за тем, что происходило в Польше, читал газеты, иногда

что-нибудь еще. Выписывал «Политику» вплоть до середины 70-х гг., пока подписку на нее не запретили у нас.

ЭРНСТ ОРЛОВСКИЙ: Газету «Трибуна люду» я пробовал читать еще в 1954 г., когда у нас впервые появилась в продаже пресса стран народной демократии, но она мне показалась совершенно неинтересной, совпадающей с нашими, даже менее привлекательной, чем газеты ГДР того времени. Потом, в начале 1956 г. вдруг в ней и в «Штандар млодых» стали появляться интересные статьи. Тогда я регулярно читал «Зешиты теоретичны-политичны» — очень интересный политический журнал, типа дайджеста.

В Польше выходило еще одно совершенно замечательное издание Польского института международных вопросов — «Збюр документув». Там печатали многие интереснейшие материалы, которые у нас вообще практически невозможно было достать, например программную речь президента США, полный текст резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, документы из Китая, Индии и тому подобное. Параллельно печатались два текста: оригинал и его перевод на польский. Если оригинал был на польском, тогда перевод был на русский или английский язык. Эти сборники, несмотря на то, что выходили с большим опозданием, были для меня особенно важными, потому что я не люблю рассуждения философские и социологические, я люблю точные факты.

В то время я не собственно Польшей интересовался, а прежде всего польской печатью, потому что через польские издания мог получить обширные сведения о многих вещах и событиях. Например, если польские коммунисты не поддерживали итальянских или еще каких-нибудь ревизионистов, то они все равно информировали об этом, подробно излагали их взгляды. Одно время я выписывал польские журналы «Пшиязнь» и «Польша». Были периоды, когда у нас вообще запрещали подписку на «Польшу», это тоже очень интересный журнал. Тогда я впервые стал делать переводы с польского для различных подпольных изданий, начиная с «Информации» — такого маленького бюллетеня, который мы составляли вместе с Револьтом Пименовым и Ирэной Вербловской.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ: Мы успели выпустить шесть или семь номеров «Информации». С польского большинство переводов делала я, некоторые — Эрнст и даже сам Револьт. Размножали их на печатной машинке. В них были различные сведения и факты, о которых умалчивали советские средства информации. И польская пресса была для

нас одним из самых важных источников. Польский язык я начала учить задолго до этого, когда в университете выбрала себе специализацию по истории польского рабочего движения. Я довольно хорошо знала историю Польши, всегда ею интересовалась.

В Ленинграде угол Невского проспекта и улицы Бродского, рядом с гостиницей «Европейская», стал в середине 1950-х гг. очень важным местом. Человек двадцать-тридцать там ежедневно стояли в очереди в газетный киоск, дожидаясь, когда подвезут прессу соцстран. Расхватывали, кто — какие. Вначале совершенно не брали венгерские газеты по причине незнания языка, но наступил октябрь 1956 г. и венгерские тоже стали разбирать. А в ближайшем сквере на площади Искусств их разворачивали и «соображали на троих» — кто сколько слов знал — так переводили, совершенно незнакомые друг с другом люди. Я не могу сказать, что все подряд читали польские газеты, такого не было. Но мы очень жарко обсуждали все, что там происходило.

Самыми важными для меня, не считая ежедневных газет, были журналы, особенно «Пшеглед культуральны». Политические новости интересовали меня намного меньше культурных преобразований в Польше в том году.

НИКОЛАЙ ОБУШЕНКОВ: После возвращения из Польши, в начале октября 1956 г. я в течение месяца научился читать по-польски, стал регулярно выписывать польские газеты, познакомился с «Трибуна люду», с «По prostu», с другими серьезными журналами. Часть получал в библиотеке, часть — от студентов и аспирантов нашего факультета. Помню, буквально через несколько дней после выхода у меня появился журнал «Новы дроги» — политический орган ЦК ПОРП — с подробнейшим изложением знаменитого пленума 19–21 октября 1956 г., и все выступления, в том числе объяснения Рокоссовского по поводу продвижения наших войск к Варшаве, у меня были. Я с удивлением и интересом ловил все сведения о Польше.

В обвинительном заключении или в приговоре, не помню, есть фраза о том, что на одном из собраний группы, которое проходило у меня на квартире, я делал переводы с польского. Я переводил для товарищей доклад Гомулки и какие-то документы ПОРП, опубликованные в польской прессе... Польские издания я продолжал потом выписывать в лагере.

МАРАТ ЧЕШКОВ: У меня лично в середине 50-х гг. никаких источников информации, кроме нашей, советской, прессы и каких-то

слухов, которые ходили в студенческой среде, не было. Зато потом в лагере информация о польских делах была лучше, чем на свободе в 1956 г. Первое время там разрешали получать иностранную прессу. Я читал «Юманите» и всю информацию черпал оттуда. Многие наши ребята выписывали польские журналы и газеты. Кто-то, по-моему, Коля Обушенков, даже учил итальянский и получал итальянскую прессу. В то время для нас не менее важным было все, что происходило в итальянской компартии, ее позиции по различным вопросам, — в частности, отношение итальянских коммунистов и мирового коммунистического движения к тем же событиям в Польше были очень значимыми для нас.

СЕРГЕЙ ХАНЖЕНКОВ: Разумеется, в конце 50-х гг. я начал учить польский язык, потому что появилась газета «Политика», которую мне захотелось читать. С десяти лет я регулярно читал газеты. А с информацией у нас всегда было плохо. Тут я установил, что если в наших газетах о каком-либо событии написана одна строчка, то в польских — уже колонка. Там будет многое расписано, будут упомянуты какие-то люди, то есть что-то можно почерпнуть для дальнейшего анализа. Исключительно в этих целях я купил польский словарь и углубился в изучение польской прессы.

БОРИС ПУСТЫНЦЕВ: В моем случае было полегче с получением информации — я слушал Би-Би-Си и «Голос Америки» на английском, английский эфир у нас тогда не глушили. С друзьями мы пытались слушать «голоса» и на русском, где удавалось пробиться через глушилки. Могу сказать, что очень многие в те годы сбились с пути истинного благодаря польской прессе. Правда, чтобы начать читать что-нибудь подобное, человек уже должен был получить какой-то толчок извне или изнутри, должен был появиться интерес. Но потом люди вчитывались, им хотелось, чтобы у нас было так, как там, потому что понимали — там свободнее, хотя бы потому, что информационный барьер не такой плотный. Польские ревизионистские издания находили горячий отклик в юных марксистских сердцах. А в те далекие времена, в середине 50-х гг., тем более еще раньше, при жизни «вождя и учителя», практически вся оппозиция была марксистского толка — социалистическая. Я был белой вороной даже среди своих, на меня смотрели как на недоразвитого, потому что я не был марксистом. И это, наверное, естественно: после нескольких десятилетий пропаганды коммунистических идей недовольство режимом и осмысление происходящего совершались под девизом: «оплевано прекрасное». Поэтому такой успех имели

югославские идеи времен раннего социализма: рабочие советы, самоуправление и так далее. Сюда же относится и польское влияние.

Я читал «По просту» в основном. Был такой общественно-политический, литературоведческий и философский журнал. Его выписывал мой приятель. Самые обычные польские журналы, например «Пшекруй» или «Доокола свята», содержали информацию, которую здесь мы могли получить, только слушая всякие «голоса» через глушилки. А в лагере это вообще был единственный источник информации. Почти все там учили польский. Нам разрешали получать польские и другие издания до 1961 г., до введения нового Уголовного кодекса. Естественно, они приходили с большим опозданием, но все равно это была какая-то отдушина. Они давали информацию, не столь дистиллированную, как советские органы печати — она была и экстенсивнее и интенсивнее. Тогда я знал польский язык на уровне чтения. До сих пор понимаю прекрасно речь, могу объясниться, читаю, как по-русски.

ВАДИМ КОЗОВОЙ: Польский язык я выучил, читая польские газеты в 1956 г. С 1955 г. стала выходить «По просту», и я стремился читать ее, а также «Штандар млодых», литературные журналы, например «Жиче литератке». Читал я их, чтобы следить за политическими событиями, которые меня глубоко волновали, потому что я в то время уже был отпетым антикоммунистом. С другой стороны, это было для меня какое-то культурное окно на Запад, если можно так сказать. В лагере из журнала «Фильм» я узнавал о том, что происходит в кино. О многих событиях истории, не только польской, я тоже узнавал впервые из публикаций в польской прессе. Я внимательно следил за процессом реабилитации, воскрешения истории. Несмотря на то, каким было мое отношение к тем или иным персонажам, мне было интересно следить за тем, как совершенно забытая, зачеркнутая история возрождалась заново. В польских изданиях этот процесс шел несравнимо глубже и шире, чем у нас, даже в период оттепели. Меня волновал процесс идейного, идеологического обновления в Польше, с огромным интересом я читал историко-философские, теоретические статьи. Через польскую прессу я соприкасался впервые со многими течениями социологической и философской мысли.

Польская культура. Кино

ВЛАДИМИР ГЕРШУНИ: В тот год родилась острота, потом применяемая и к другим странам восточного блока: «Польский барак — самый веселый в нашем лагере». Очень воодушевляли художественные

выставки, где поляки первыми стали выделяться своим авангардом. Мы сразу почувствовали: жизнь там пошла веселее, чем у нас. Хотя очень быстро начался откат: Гомулка дал погулять всего несколько месяцев. Я помню его слова: «Пора за работу, хватит митинговать». Рассказывали, что он не любил театра, плевался и чертыхался, когда бывал на спектаклях. Это был тупой, черствый функционер, замкнутый в партийных делах, интригах и дрызгах, совершенно чуждый культуре. Он очень напоминал Никиту. Тем не менее именно со стороны Польши в то время получали мы не только информацию о последних художественных течениях, но и наглядные примеры развития современного искусства.

НИКОЛАЙ ОБУШЕНКОВ: В моем доме всегда была тяга к польской литературе, польскому языку. Кроме газет и журналов мы с женой, сотрудницей Института славяноведения, специалистом по истории Польши, всегда читали польские книги, и детям тоже привили любовь к ним. Они читают по-польски, особенно любят детективы. В нашем доме польский стал будничным, домашним языком.

БОРИС ПУСТЫНЦЕВ: Я выписывал польский журнал «Экран», следя по нему за развитием мирового кинематографа. О всех польских фильмах мы многое знали задолго до того, как они выходили на советские экраны. Никогда не забуду, как вдруг совершенно неожиданно нам в лагере показали «Покушение» Пассендорфера... Польское искусство я воспринимал прежде всего как способ противостояния существующему режиму. Оно всегда носило какой-то оппозиционный налет, иногда откровенно оппозиционный характер. К сожалению, как я сейчас понимаю, оно не воспринималось нами как искусство, само по себе. Наше отношение ко всем вопросам носило политизированный, идеологический характер. И в польском искусстве мы видели прежде всего вызов системе. Это было одним из тех элементов, которые помогали выжить.

ВАДИМ КОЗОВОЙ: Для определенной части интеллигенции в Советском Союзе Польша с 1955–1956 гг. служила мостом в Европу, в европейскую культуру — начиная с культуры самой отвлеченной, культуры идей и вплоть до политической культуры. То что было запрещено или не допускалось советской цензурой, доходило до нас в Москве через Польшу, через польские книги, журналы, кино и театр. Все это было на польском языке, с польскими акцентами и нюансами. И так получилось потому, что поляки добились сохранения относительной свободы в области культуры даже в период сталинского режима. И это не может быть забыто.

Нечто подобное происходило и в Венгрии, что-то там тоже печаталось, несомненно. Но, думаю, будет довольно трудно найти кого-нибудь в бывшем Союзе, кто бы впитывал все это в венгерской интерпретации.

Если говорить о кино, то в польском кино 50-х гг. есть примеры подлинного искусства. «Канал» Вайды я впервые увидел в лагере — очень трагический, прекрасный фильм. Позднее в лагере нам показали фильм Ежи Пассендорфера «Покушение» — очень хороший фильм, снят в строгой, документальной манере. Уже тогда поляки умели делать отличное кино. В их фильмах остро и трагически был изображен конец целой эпохи, границей которой и стал, на мой взгляд, 1956 г.

В польских журналах я впервые прочитал многие философские труды, новейшие произведения западной литературы, стихи и романы — Фолкнера, к примеру. Этого я не забуду полякам, в хорошем смысле, я им многим обязан. Я не просто следил тогда за развитием польской общественной жизни, культуры в особенности, это являлось частью моего существования с середины 50-х гг.

ЭРНСТ ОРЛОВСКИЙ: Именно к культуре — музыке, живописи, архитектуре — у меня интерес был небольшой. Не только польское искусство меня не интересовало, но и русское. Честно. На польское кино я, конечно, ходил, фильмы Вайды очень люблю. Но, скажем, намного важнее того же фильма «Пепел и алмаз» для меня была книга Анджеевского, которую я прочитал гораздо раньше... Вот книги — да! Совершенным потрясением для меня было в 1956 г. заглавие книги, которую я увидел и сразу же купил: «Обзор боевых операций Войска Польского в 1946–1949 гг.». У нас никогда не бывало подобных книг. Конечно, я сразу стал ее читать.

Я старался следить за развитием польской литературы постоянно. Очень гордился, когда, кроме газет, смог осилить первую книгу на польском. Это был один из детективов Збигнева Ненацкого. Я стал выписывать журнал «Новые польские книги» (он выходил на русском языке), чтобы быть в курсе всех новинок. В журнале «Польша» тогда был опубликован репрезентативный отрывок из романа Казимежа Брандыса «Матка Крулей». Эту книгу я считаю особенно важной, просто необходимо перевести ее на русский. Это одна из немногих книг, где глубоко, талантливо изображена психология если не прямых виновников, то соучастников репрессий — партийных работников, авторов доносов и так далее. С тех пор Брандыс, скажу вам, важен для меня ничуть не меньше Льва Толстого. К ним двоим я обращаюсь постоянно. До сих пор мне

кажется, что польская литература во многом глубже нашей в психологических сторонах, там чаще и больше эти темы затрагиваются — рефлексия, осмысление прошлого и настоящего. Мне очень много дали польские художественные и исторические, юридические источники.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ: Для нас настоящей революцией стала статья Яна Котта в журнале «Пшеглинд культуральны», забыла ее название. В ней впервые был подвергнут сомнению социалистический реализм. Это было неслыханно! Представьте, что нам вбивали в голову: искусство должно отражать только то, к примеру, что я сейчас вижу за окном, но немножко красивее. Смешно, да? А Ян Котт писал о том, что допустим иной взгляд на реальность — не только из чувственных восприятий, но из какого-то другого потока сознания... Я лихорадочно бросилась переводить эту статью, чтобы всем-всем быстрее рассказать об этом.

Это было время воздействия двух киношкол — польской и итальянской. Не знаю, какое воздействие имело польское кино в политическом плане, но в нравственном, безусловно, должно было иметь. Залы были переполнены, люди выходили потрясенными. Но, думаю, все же это не было, как говорят физики, каким-то нуклеарным воздействием, потрясением до основ.

Примеры связей, впечатления от контактов с поляками.
«По просту»

ВЛАДИМИР ГЕРШУНИ: Очень важными для меня были встречи с поляками в лагере. Массовая репатриация тогда еще не началась, и их было много в Карлаге. Среди них встречались такие, кто в полной мере соответствовал выражению «гордый поляк». Независимые, с развитым, не сравнимым с нашим чувством собственного достоинства. Там были разные люди, из разных сословий и поколений, но всех отличали чувство собственного достоинства и способность до конца сопротивляться.

Освободился я в 1955-м. Поэтому, когда через год в Польше началась революция, я был внутренне совершенно готов к этому, я как будто бы ждал чего-нибудь подобного именно от поляков.

БОРИС ПУСТЫНЦЕВ: Я общался в Ленинграде с польскими студентами. Я очень увлекался джазом. Поэтому когда приезжали какие-то музыканты, а в основном, они приезжали из восточно-европейских стран, с ними тоже стал быстро общаться. Мы говорили о многом — что-то из наших сведений подтверждалось, что-то корректировалось. Приезжавшие поляки, самые радикально настроенные из них,

утверждали: «Все может быть по-другому. У нас — уже по-другому. Если вы будете бороться, то и у вас будет так...»

НИКОЛАЙ ОБУШЕНКОВ: В нашей группе довольно тесные контакты с поляками имел Вадим Козовой, но об этих контактах я знаю понаслышке. Все контакты Меньшикова и Краснопевцева не были их личными инициативами: они предварительно обсуждались и согласовывались всей группой. Я имел многочисленные встречи, беседы и приятельские отношения со многими молодыми поляками во время своего пребывания в Польше. Я бывал во многих домах, участвовал в их развлечениях. Они доверяли мне, оберегали от возможных столкновений. Я этого не чувствовал, но они говорили, что мне лучше не надо оставаться одному, потому что могут быть неприятности, не от них — от кого-нибудь другого.

Были потом встречи и в Москве. У студенток нашего факультета были знакомые поляки. Когда они приезжали, то я обычно участвовал в этих вечеринках, чтобы девушки не были скомпрометированы, и заодно узнавал все последние польские новости. В университете мы очень активно общались с польскими и венгерскими студентами. Постоянно шел обмен информацией и взглядами. Я вел группу дипломников, почти целиком это были венгры, поляки, восточные немцы. Думаю, приехавшие к нам поляки представляли потом у себя на родине все то лучшее, что было в ревизионистском движении. Лидерами они не стали, но определенную роль большинство из них сыграли.

МАРАТ ЧЕШКОВ: Когда я учился на историческом факультете, в период с 1950 по 1955 г., у нас было двое поляков. Оба они жили в общежитии, поэтому я не мог с ними контактировать. По-моему, они ничем не выделялись, особенно какими-то оппозиционными взглядами, я не заметил этого, они были типичными советскими студентами, компанейскими парнями. А вот студенты из Венгрии, наоборот, выделялись своей политизированностью из общей массы.

Но потом, учась в аспирантуре на экономическом факультете, я заметил, что, в отличие от нашей любви к марксистской теории, умения разбираться в основных догмах, поляки старались отстраняться от этого, как бы не принимали такого теоретизирования всерьез. У нас, лично у меня, на этой почве возник комплекс превосходства. В среде советских ревизионистов он существовал весьма устойчиво и довольно долго. Нам казалось, что мы намного лучше владеем марксистской теорией. Это должно было вызывать у поляков отнюдь не чувство собственной

ущербности, а скорее иронию. Марксистские догмы они тогда не отвергали открыто, но как бы отодвигали их. Вот так: «Не столь уж это важно в конце концов...» И очень часто уже тогда излагали новейшие западные идеи.

В середине 50-х гг. возникли связи, обусловленные событиями в Польше 1956 г. и нашими реакциями на них. Но конкретного очень мало. Тогда любые контакты с поляками были исключительно важны для нас, главным образом ради получения информации и обмена мыслями и соображениями. Организационных связей мы не налаживали. Помню, как Меньшиков просил меня приехать в общежитие на Ленинских горах к польским студентам, чтобы вести с ними разговоры в ревизионистском духе и узнать, что у них реально происходит. Несколько раз он просил меня найти в общежитии кого-нибудь из польских студентов или аспирантов, с кем было бы интересно побеседовать. Но получалось так, что я ездил туда главным образом в клуб, на танцы. У меня даже была одна знакомая полька, Магда Жимайтис. Но я не помню, чтобы мы вели с ней политические разговоры. Это было приблизительно во второй половине 1956 г.

Тот же Володя Меньшиков познакомил меня с польской журналисткой Левандовской. Но я не помню, о чем конкретно мы с ней говорили. Тогда мы обсуждали разные польские идеи. Особенно нас интересовал их специфический способ кооперации в сельском хозяйстве, который не настаивал на коллективной собственности. У них в то время возникли и действовали рабочие советы, что тоже было весьма интересно.

ВАДИМ КОЗОВОЙ: Краснопевцев хотел, чтобы я начал создавать какие-то кружки подпольные международные. Я был единственным студентом в нашей компании. У меня были приятельские отношения с несколькими поляками, которые учились у нас. То что можно назвать чем-то более-менее последовательным — контакты с польскими журналистами из «По просту» и «Штандар млодых», — возникло позднее, весной 1957 г. Занимались этим в основном Краснопевцев с Меньшиковым.

Из Польши Лев Краснопевцев привез сборник статей из «По просту» за 1955–1956 гг. издания и подарил его мне. Потом с этой книжкой была история, когда в Харькове кагэбэшники искали ее в доме моих родителей.

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ: Международных связей, кроме контактов с поляками, у группы не было. Нами руководило тогда естественное

желание общаться с единомышленниками. Общество было настроено консервативно, мы находились как бы в вакууме. И контакт с людьми, которые думают так же, как мы, был очень интересен и важен для нас. Других международных контактов не возникало. С чехами ничего подобного быть не могло — они были все ортодоксальны. Венгры — да, но знакомых венгров не было, и я сомневаюсь в том, что венгерский студент осмелился бы открыть рот в Москве. Кроме поляков не было никого. Да и эта связь возникла по чистой случайности задолго до Московского фестиваля, где мы собирались развить бурную деятельность. Одна девушка с нашего факультета, за которой я в свое время ухаживал, подружилась с польским студентом. Имея достаточно четкое представление о моих настроениях, однажды она пригласила меня на встречу с главным редактором тогдашней левой газеты «По просту» Лясотой. Каждый студент тогда имел свою комнату в двухкомнатной квартирке в общежитии на Ленинских горах, что было крайне удобно. Соседка моей знакомой отсутствовала, в нашем распоряжении была вся квартира. Там и состоялась первая встреча. Со мной были ребята из тех кружков, которые я вел. При Лясоте — два паренька. Насколько помню, в нашем деле говорится об этой связи, о «По просту», об этом потом даже в газетах написали.

Зачем нам это было нужно? При первой встрече не было разговора о подпольной группе, но очень четко обозначились политические позиции обеих сторон. Полякам было сложно: их главный говорил по-русски, остальные двое — нет. Он переводил. Разговор проходил в бесконечных извинениях из-за форм обращения, принятых в польском языке. Постоянно произносилось: «“Панове” — отнюдь не означает “господа”, мы — товарищи! Об этом не может быть и речи, мы истинные коммунисты!..» Они подробно рассказывали о том, как они агитируют, как выбирают темы, раскрывают их — о повседневной журналистской работе оппозиционной группы.

Поляков интересовало абсолютно все: в цитадели коммунистов появляется подпольная группа! Сами они были на последнем издыхании, первый взлет демократизма 1956 г. сходил на нет, Гомулка начал их прижимать, — они это явственно говорили. Но у них все было легально: Лясота — депутат Сейма, открыто выпускал оппозиционную газету... Совершенно иная картина. Если сравнить, это похоже на ситуацию 1989 г. у нас.

Потом перед фестивалем Лев Краснопевцев съездил в Польшу в составе какой-то студенческой делегации. Там, имея мою рекомендацию, он встречался с Лясотой и другими людьми из «По просту». Все прошло успешно, они договорились об обмене литературой. Но он носил односторонний характер: Лясота вывез в Польшу экземпляр Левиной книжки — на этом обмен завершился.

Через какое-то время после этого меня нашла польская журналистка Ирэна Левандовская. Представилась, что она от «По просту», но, Бог ее знает, от кого она была на самом деле. Очень активно шла на контакт. Но эти контакты были абсолютно пустыми: она дала мне почитать какие-то материалы ПАП — Польского агентства печати, они были достаточно критические и резкие.

Позднее приезжал их философ, молодой парень — Колаковский. Было известно, что он был марксистом, и мы очень хотели с ним встретиться, но этого не получилось. Мы даже связались с одной полькой, знакомой Левандовской, приготовили квартиру, разработали какую-то идиотскую детскую методику нелегальной встречи с ним. Но та полька сказала по телефону, что «за Лешеком очень жесткая слежка, и наша встреча исключена».

ЛЕВ КРАСНОПЕВЦЕВ: Связи служили главным источником информации. В университете училось достаточно много польских студентов и аспирантов. Держались польские студенты, в общем, независимее, резче, в отличие от чехов или венгров. Но в студенческой среде у меня практически не было контактов...

У нас на историческом факультете учился один парень — Эрнест Скальский. С ним и с его женой, Лией Новиковой, позже было связано много событий. Через них были установлены основные контакты нашей группы с поляками.

С Элигиушем Лясотой я встречался, когда был в Польше в составе молодежной делегации. В мае в Москве была одна полька, журналистка Левандовская. Меньшиков, Скальский и другие ребята несколько вечеров беседовали с ней. Мы знали, что молодежное движение в Польше активно развивается и имеет очень серьезные позиции. Тогда уже было известно, что я поеду в Варшаву, и Володя попросил Левандовскую договориться о моей встрече с главным редактором «По просту» Лясотой — очень авторитетным человеком среди молодой интеллигенции.

Когда я был в Польше, меня поразила открытость, раскрепощенность поляков, уровень их культуры казался мне недостижимым для нас. Такие были первые впечатления. Лясота был тогда в обращении со мной предельно демократичен и контактен. Я воспринимал его как единомышленника.

Позднее, в июле-августе 1957 г. мы встречались с группой поляков, которые сами нашли меня во время работы Московского фестиваля молодежи. Тогда мы тоже о многом беседовали.

После нашего ареста госбезопасность первым делом кинулась на наши польские связи. Думаю, им нужен был этот «международный заговор», чтобы придать особый вес нашему делу. Мой следователь Сыщиков ездил в Варшаву со специальным заданием. Материалы «По просту» были включены в дело. Производились обыски у Скальских, там нашли мою работу, насколько помню, и нашу листовку, текст которой мы собирались передать в Польшу. Вскоре после нашего ареста «По просту» была закрыта.

Польский вопрос. Либерально-демократические традиции

МАРАТ ЧЕШКОВ: Для советского студента — а я был обычным, средним советским студентом — проблемы традиции не существовало. Нам, как историкам, вроде было бы и важно ее учитывать, но этого не происходило, насколько я могу сейчас реконструировать наши, лично мои взгляды того времени. Мы активно интересовались политикой, были крайне политизированы. Но при чем тут традиции, когда нами владело сознание первопреходства, даже первородства? Мы все начали сначала, мы не знаем, чем это все может закончиться, как будет развиваться. Да, мы знали о польских восстаниях, декабристах, Герцене. Краснопевцев Ленина сопоставлял с герценовской традицией. Тем не менее для него эталоном оставался Ленин. Традиции оставались в области теоретического знания. Но это не касалось рефлексии. Всерьез к традициям стали обращаться тогда, когда стала более-менее вырисовываться и осознаваться химеричность тех наших марксистских иллюзий.

Если судить о событиях 1939 г., то мы не могли утверждать, что Сталин с Гитлером сговорились и разделили Польшу, так не формулировалось. Но мы считали тогда, что Советский Союз занял «объективно...» — это расхожее выражение тех лет означает «независимо от намерений и существующей обстановки» — «объективно антипольскую позицию». И,

будучи историками, расценивали это как продолжение вековой традиции разделов Польши. Интересовались мы и событиями 1920 г., считали поход на Вислу чистой авантюрой, а создание польского ревкома с Дзержинским и Мархлевским во главе — типичным экспортом революции. Не могу сказать, что в рассуждениях мы доводили до конца выражение своей приязни к Польше или откровенную антипатию к внешней политике большевиков. Но тем не менее, оценивая все в коммунистических категориях, мы считали, что позиция Советской России в польском вопросе не была интернационалистской, не соответствовала понятиям истинного пролетарского интернационализма.

БОРИС ПУСТЫНЦЕВ: Мы прекрасно знали польскую историю. Отношение к Польше, к другим соцстранам, по-моему, является очень важной составляющей частью мироощущения человека. Имперский период я перерос, когда мне было четырнадцать-пятнадцать. Года через два я совершенно серьезно воспринимал лозунг «За нашу и вашу свободу», понимал, что мы делаем одно общее дело, — их оппозиция режиму и наша. Борьба Армии Крайовой с советской оккупационной армией для некоторых из нас, для меня в частности, была примером, моделью. Я постоянно слушал Би-Би-Си на английском и всю ситуацию искренне воспринимал с подачи Лондона. Я был белой вороной среди своих приятелей, ориентированных на прогрессивную модель социализма, потому что мне было интересно все, что касалось польского правительства в Лондоне, армии Андерса, гражданской войны в Польше после 1944 г. Я был заражен польским духом сопротивления. И был у меня огромный комплекс вины уже тогда — не только перед поляками, но и перед другими народами, которым мы учинили столько кривды. Он основывался главным образом на знании истории: я знал, что эти страны оккупированы моей армией. Нет, я не считал ее своей, я всегда говорил «они», а не «мы». Но я ведь не выступал против этого, — значит, был соучастником.

В 1956 г., несмотря на хрущевские разоблачения Сталина, население было не готово к пониманию того, что мы, Советский Союз, можем быть неправы, а уж тем более к комплексу вины перед другими народами. Миф о советской исключительности — результат железного занавеса и информационного вакуума — преобладал в массовом сознании.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ: Как бы там ни было, они продолжали и после своего Падзерника сидеть под нашим кулаком — все равно все дирижировалось Москвой. Они всегда безумно нас боялись и не любили.

Очень боялись и очень не любили. Сколько поляков прошло через наши лагеря!.. Как им не бояться?.. Наши отношения не взаимоадекватны: у них нет оснований для любви к нам. Они симпатизируют только тем из нас, кто определенным образом демократически настроен, с теми они могут искать общее. Но, к сожалению, те, кто демократически настроен, никогда не делали музыку в нашей стране. Демократы здесь играют под сурдинку... Плохо у нас с комплексом вины. У русских вообще плохо с комплексом вины. По отношению ко всем, начиная с самих себя...

ЛЕВ КРАСНОПЕВЦЕВ: Польша всегда была нам особенно близка. Мы — историки. Мы знали об отношении Герцена к полякам, Чернышевского к полякам, социал-демократов, меньшевиков, просто русских интеллигентов демократической ориентации. Для нас со времен студенчества, со школьных лет были характерны отношения эмоциональной поддержки польского освободительного движения, союзнические отношения с их оппозицией. Поляки вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы с царизмом. Мы считали себя последователями демократической традиции поддержки польского освободительного движения.

Общие оценки событий 1956 г.
Развитие интереса к Польше после 1956 г.

БОРИС ПУСТЫНЦЕВ: Все, что происходило тогда в Польше, было невероятно интересно. Практически мы знали, стремились знать все о тех событиях, очень пристально следили за ними. Это казалось началом трансформации большевистского режима. Польша всегда была оплотом оппозиции русскому режиму — и до большевизма, и после. Сравнительно большая страна с развитой культурой, не Болгария и не Венгрия по масштабу, такой перекресток Европы — Восток-Запад. А в 1956 г. Польша воспринималась как островок если не свободы, то полусвободы. Не политической — политические различия были незначительны между нашим режимом и польским, по сути это было одно и то же. Но атмосфера в обществе, этот вольный дух, присущий Польше, заражали и притягивали.

МАРАТ ЧЕШКОВ: Польские события мы очень много и долго обсуждали до ареста и в лагере. Для нас стало очевидным, что сталинская модель социализма не воспроизводится в странах Восточной Европы, а именно в Польше и Венгрии, что она там потерпела поражение и они будут искать свой, индивидуальный путь. Помимо внутренних польских преобразований нас интересовало развитие отношений Польши с

Советским Союзом. Мы стали осознавать, что имеются основания для постоянно возникающих противоречий и непонимания, что польская сторона, начиная с руководства ПОРП, все чаще открыто выбирает позицию противостояния. Взять хотя бы положение перед Октябрьским пленумом 1956 г. и сразу после него. Несмотря на то, что отношения Гомулки и Хрущева впоследствии нормализовались, было впервые публично продемонстрировано не просто стремление к независимости, но открытое игнорирование установок Москвы. Это было большой победой Гомулки и необычайно подняло его авторитет в глазах поляков и всех сочувствующих польской революции.

АЛЕКСАНДР ЛАВУТ: Массового интереса к событиям 1956 г. в Польше, тем более массовой полонофилии, в то время я не наблюдал. Круг интересующихся был достаточно узким, — интеллигенция в основном. Их радовали те изменения, которые происходили в Польше, Венгрии, затем в Чехословакии. Польское развитие здесь очень отражалось на умонастроениях, и, конечно, эта связь все время чувствовалась. Может быть, она и проявлялась в чем-то материальном, но довольно слабо. Потому что, скажем, в подцензурной литературе и публицистике в то время она не могла найти отражение, а самиздата практически не существовало.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ: Начиная с 1956 г. Польша была одинаково важна для филармонических девочек и джазовых мальчиков, для марксистов и антикоммунистов, для достаточно большой части советской интеллигенции разных поколений. Почему все, что происходило у них тогда и потом, находило здесь такой живой отклик? Может быть, потому, что поляки все же очень близки нам. Они свои, наши. В отличие от чехов или венгров. С ними у нас была общая история, совместный опыт. А совместный опыт, как я думаю, пусть даже отрицательный и самый страшный, — он людей не разъединяет. Допустим, даже лагерь — пример тому. А чужой опыт остается чужим...

СЕРГЕЙ ХАНЖЕНКОВ: В 1956-м моим родителям разрешили выехать с Колымы «на материк». Наша семья обосновалась в столице Белоруссии Минске. Тогда я уже был законченным антисоветчиком. Но открытое сопротивление коммунистической системе, к которому меня влекло, казалось чем-то немыслимым, просто самоубийством. Но уже не привлекали те формы скрытого противостояния, которые появились после «оттепели»: узкие брюки, джаз, кино и другие влияния Запада,

Польши в частности. Все это казалось чем-то вроде фиги в кармане, и я смотрел на это несколько свысока.

Поэтому польский ревизионизм того времени я не переживал как-то особенно ярко, и те события в Польше не стали значимыми для моей внутренней биографии. Если говорить о Польше, то намного важнее для меня был провал польской кампании Красной Армии в 1920 г. Большевики говорили тогда: «Варшава — Берлин — Париж!..» И тут — на тебе: вся страна поднялась, и армия Тухачевского была разбита, — это меня восхищало. Идея «мировой революции» провалилась, и это, бесспорно, заслуга поляков, именно они тогда защитили Европу от коммунистического нашествия. Узнал я об этом достаточно рано. Все было прекрасно описано, хотя и старались многого не говорить: ведь это было крупным военным поражением. А польский Пазьдзерник был все же по сути попыткой реформировать существующую социалистическую систему, если не считать извечного стремления поляков к независимости.

ВЛАДИМИР ГЕРШУНИ: Года через два-три после польской революции у нас появилась очень странная книжка. Была она по сути цитатником из польских газет и журналов периода вольности 1956-го. Автор — поляк, некто Кшемьень — писал в таком духе: «Обратите внимание, до чего может довести ослепление антикоммунизмом...» И дальше шла цитата на полторы страницы из захватывающих материалов, опубликованных в «По просту» или в «Пшегльнд культуральны». Книжка называлась «Против идеологического разоружения партии. По материалам публикаций в польской печати 1956–1957 гг.». Я носился с ней тогда как с писаной торбой, всем знакомым советовал немедленно ее покупать. Она очень быстро исчезла с прилавков. Абсолютно неважны были куцые комментарии составителя, на них никто не обращал внимания. Вот эта книжка сыграла тогда большую роль.

ВАДИМ КОЗОВОЙ: За всеми событиями 1956 г. я следил очень внимательно. Все, что происходило тогда в Восточной Европе, особенно в Польше, было для меня частью процесса десталинизации и началом краха коммунистической идеологии. И собственно отношение к Польше мало выделялось из общего сочувствия процессам смены сталинского режима. Поэтому тогда у меня не было четко сформулированного отношения к отдельно взятым событиям в Польше, явлениям польской культуры, тем более к польскому вопросу, проблемам польско-русских отношений. Но мало-помалу именно с того времени я стал все больше и больше об этом задумываться.

Польский опыт

НИКОЛАЙ ОБУШЕНКОВ: В 1950-е гг. горячий интерес к Польше был связан с поисками ответа на вопрос: что и как делать? У поляков мы искали образцов поведения.

Чрезвычайно поучительной была моя поездка в Польшу осенью 1956 г. Я был молод и энергичен, у меня было много интересов. Это был самый канун октябрьских событий в Польше и Венгрии. Я впитывал ту предреволюционную психологическую атмосферу предгрозя.

Такое я наблюдал впервые. Дело в том, что как аспирант, начинающий научный работник, я очень интересовался июньскими событиями 1953 г. в Берлине. Но тогда мне еще казалось, что все это — действие «бывших» элементов, продолжение «фашистского похмелья». Так работала пропаганда. Но уже появились сомнения, не было полной уверенности в адекватности официальных советских оценок. Очень смущало активное участие рабочих. И тут вдруг в Польше я увидел совершенно незнакомую мне обстановку... Ведь у нас в Москве это был еще дофестивальный период: боязнь доносов, страх перед любым лишним словом, постоянная оглядка на совершенно реально существовавших тогда, открытых осведомителей — их полно было вокруг нас. А в Польше я увидел, что это уже не работает, или на это никто уже не обращает внимания, что люди раскованны, внутренне свободны, вплоть до того, что свободно бросают лозунги, пусть наивные, неглубокие, — это была уже не иллюзия свободы, это были ее первые признаки, заря свободы в обществе. И это очень сильно повлияло на меня. Появилось желание что-то подобное делать, чтобы достичь такого же уровня раскрепощенности общества у нас.

Особенно интересно было узнать о том, как молодежные группы готовят и разбрасывают листовки, организуют различного рода диспуты, встречи, маленькие митинги, — словом, создают брожение в обществе. Я понял, что какие-то радикальные изменения — дело вовсе не легендарное, что это вот тут, в нашей среде существует. Я увидел носителей этой идеологии, которые участвовали в подготовке революции и не гордились этим, а рассказывали обо всем так просто, как могли бы говорить, например, о том, как танцевали накануне с прелестной девчонкой. Меня всерьез заинтересовало то, как готовились молодыми поляками преобразования в обществе.

В то время я был морально готов вступить в какую-нибудь нелегальную группу или создать ее. Поэтому, когда вернулся, то буквально в течение пары месяцев мы с Краснопевцевым договорились о формировании своей организации. Потом узнал, что речь шла о моем вхождении в уже реально сложившуюся или складывающуюся группу, а не о ее создании. И мое участие в написании листовки летом 1957 г. было связано не столько с ожиданием каких-то определенных политических сдвигов в нашей стране, — я уже не был настолько наивен, — сколько был расчет на то, что наконец начнется что-нибудь подобное тому, что я видел в Польше.

В лагере от желания адаптировать польский опыт к нашим условиям я перешел к разработке какой-то системы взглядов, более ориентированных на ситуацию в нашей стране. Но и тогда и сейчас их опыт преобразований в экономике, начиная с 1955 г. до сегодняшних дней, очень ценен для меня, я часто использую его в своих работах. Польский опыт — это что-то данное на всю мою сознательную жизнь.

МАРАТ ЧЕШКОВ: Начиная с 1956 г. Польша интересовала меня в нескольких аспектах. Первый аспект: что вносят польские эксперименты, польский опыт в модель социализма — критика сталинской модели, восприятие и попытка усвоения поляками югославской модели. Мы в то время считали, что именно югославский опыт был модельным. Само понятие «модели» вообще тогда не оспаривалось, оно возникло позднее. В принципе, верно ли вообще говорить о каком-то опыте, возводя его в степень модельности? Это уже теоретический вопрос для любителей.

Второе, что было важно лично для меня, — развитие польских общественных наук. Они в значительной степени прогрессировали в то время и были очень важным источником в моей работе, а я все время занимался развивающимися странами. Особенно интересны были работы Ежи Клиера о многоукладной экономике, о соотношении государственного устройства, госсектора с экономикой. Это было очень полезно. В каком-то смысле некоторые наши научные работники занимались тем, что перелагали идеи поляков для местного обихода. Многие мои друзья и коллеги по институту в разное время, после 1956 г., пропагандировали польский опыт. И чем дальше шло дело, тем с большей очевидностью мы понимали, что польские общественные, социологические науки очень сильно прогрессировали по сравнению с нашими. И Польша выполняла роль не только некоего реле, передатчика западных идей в сфере общественных наук. Главный их вклад в том, что, не отвергая марксистской, истматовской догматики, они снизили ее

теоретический статус. Оценивая ее с точки зрения эмпирической науки и с точки зрения реальности, они очень много сделали для развенчания марксистских догм, вплоть до сведения к идее их бесполезности. Это было очень существенно.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ: Польша имела для нас всегда особое значение, потому что это была связующая нить, которая тянула нас к Западу. Какие бы катаклизмы ни возникали, то, что там происходило, было для нас чем-то вроде зеркала, зачастую мучительного: мы наблюдали и начинали проецировать — а вот у нас могло бы быть так? Наши связи с польским народом неформальны, они идут по очень разным путям. Не зависимо от границ, а в зависимости от разных этапов политической истории ближне-западное, польское влияние было сильнее, чем какое-либо другое. Между Россией и Польшей происходит значительная диффузия. В особенности в момент, когда появляются оттепельные симптомы и тоталитарный режим немножко отступает, — тогда мы лучше, полнее воспринимаем.

В 1956 г. она стала для нас окошечком, калиточкой, каким-то глазочком... Да, впервые оттуда мы о многом узнали, многое увидели. Нам казалось, что многое из опыта их преобразований можно и у нас претворить, нам хотелось этого. Польша была каким-то подобием модели. Мне приходит на ум кокетливое сравнение: Польша была моделью такого прекрасного платья, которое я, конечно, никогда на себя не надену, но как же оно замечательно!..

Биографические справки:

ВЕРБЛОВСКАЯ Ирэна Савельевна, родилась в Ленинграде в 1932 г. Историк, экскурсовод. Арестована в Ленинграде в марте 1957 г. по делу группы своего мужа, Революта Пименова. Приговорена к 5 годам лишения свободы по статье 58–10 ч.1, 2 Уголовного кодекса РСФСР за участие в антисоветской группе, изготовление и распространение антисоветских материалов. Живет в С.-Петербурге.

ГЕРШУНИ Владимир Львович, родился в Москве в 1930 г. Был трижды арестован: в 1949, 1969 и 1982 гг., судимость по политическим статьям, сроки отбывал первый раз — в лагерях, последние два — в спецпсихбольницах. Писал стихи, занимался правозащитной деятельностью. Жил в Москве. Умер в 1994 г.

КОЗОВОЙ Вадим Маркович, родился в Харькове в 1937 г. Поэт, переводчик французской поэзии, до ареста — студент IV курса

исторического факультета МГУ. Арестован в Москве в августе 1957 г. по делу группы Краснопевцева. Осужден по ст. 58–10 ч.1, 58–11 к 8 годам лишения свободы. Живет в Париже.

КРАСНОПЕВЦЕВ Лев Николаевич, родился в Москве в 1930 г. Историк. Арестован в Москве в августе 1957 г. за организацию антисоветской группы в Московском университете, написание листовки с призывом к забастовке. Осужден по ст.58–10 ч.1, 58–11 к 10 годам лишения свободы. Живет в Москве.

ЛАВУТ Александр Павлович, родился в Москве в 1929 г. Математик, правозащитник, член Инициативной группы защиты прав человека в СССР. Арестован в апреле 1980 г., осужден по ст. 190–1 за изготовление и распространение правозащитных документов на 3 года лагерей общего режима, повторно в 1983 г. осужден по той же статье за антисоветскую агитацию среди заключенных на 5 лет ссылки. Живет в Москве.

МЕНЬШИКОВ Владимир Борисович, родился в Улан-Удэ в 1933 г. Историк. Арестован в Москве в августе 1957 г. по делу группы Краснопевцева. Приговорен к 10 годам лишения свободы по ст. 58–10 ч.1, 58–11. Живет в Москве.

ОБУШЕНКОВ Николай Григорьевич, родился в Вологодской области в 1929 г. Арестован в Москве в августе 1957 г. по делу группы Краснопевцева. Осужден по ст. 58–10 ч.1, 58–11 к 6 годам лишения свободы. Живет в Москве.

ОРЛОВСКИЙ Эрнст Семенович, родился в Ленинграде в 1929 г. Математик, правозащитник. Подвергался допросам, обыскам и вызовам в КГБ по многим политическим делам, начиная с группы Пименова (1957 г.). Живет в С.-Петербурге.

ПУСТЫНЦЕВ Борис Павлович, родился во Владивостоке в 1935 г. Переводчик, режиссер дубляжа. Арестован в Ленинграде в мае 1957 г. за участие в антисоветской группе Виктора Трофимова и выпуск листовки в поддержку восстания в Будапеште. Осужден по ст. 58–10 ч.1, 58–11 к 10 годам лишения свободы. Живет в С.-Петербурге.

ХАНЖЕНКОВ Сергей Николаевич, родился в лагерном поселке Усть-Утинский Магаданской области в 1942 г. Инженер. Арестован весной 1963 г. в Минске. Осужден на 10 лет лагерей по ст.ст. 69, 65 и 67, ч.1 УК БССР за антисоветскую деятельность, создание антисоветской организации и диверсию — подготовку взрыва глушителя одной из минских радиостанций. Живет в Минске.

ЧЕШКОВ Марат Александрович, родился в Москве в 1932 г. Историк. Арестован в сентябре 1957 г. по делу группы Краснопевцева. Осужден по ст. 58–10 ч.1, 58–11 на 8 лет лишения свободы. Живет в Москве.

*Статья опубликована на сайте [Общества "Мемориал"](#)
Автор - Татьяна Косинова (Санкт-Петербург)*